

Научная статья
УДК 82-94 (571.1/.5)
doi: 10.17223/15617793/512/4

Мемуары сибирских авторов о декабристах

Кристина Антоновна Михайленко¹

¹ Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия, Mikhaylenko_ka@mail.ru

Аннотация. Исследуются посвященные декабристам воспоминания сибирских авторов, обозначается их жанровое своеобразие, специфика нарратива и фикциональная наполненность. Актуализируются продуктивные для сибирской мемуаристики XIX в. мифологемы, в том числе детерминированные феноменом декабризма. Формулируется положение о сложном палимпсестном построении текстов воспоминаний. Анализ мемуаров проводится с использованием идей имагологии, мифопоэтического и культурно-исторического подходов.

Ключевые слова: мемуары, декабристы, ученики декабристов, образ Сибири, имагология, мифопоэтика

Для цитирования: Михайленко К.А. Мемуары сибирских авторов о декабристах // Вестник Томского государственного университета. 2025. № 512. С. 29–41. doi: 10.17223/15617793/512/4

Original article
doi: 10.17223/15617793/512/4

Memoirs of Siberian authors about the Decembrists

Kristina A. Mikhaylenko¹

¹ National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation, Mikhaylenko_ka@mail.ru

Abstract. The article analyzes the specifics of Siberians' memories of the exiled Decembrists. The aim of the study is to identify the authentic features of the memoirs of Siberian authors in their connection with the phenomenon of the Decembrists, which had a tremendous impact on the socio-cultural development of the Siberian region. The work explores the main topics that worried the memoirists, the features of narrative construction, including the use of fictitious techniques in the narrative. The dynamics of mastering the image of the Decembrist by local residents is considered in detail: from the image of an educator carrying knowledge to a "folk" hero endowed with biblical features. Turning to the memoirs of Siberian authors about the Decembrists in a literary context and in connection with its influence on the formation of the Siberian text, we first introduce the memoirs of N.A. Belogolovy, P.I. Pershin-Karaksarsky, M.S. Znamensky, A.P. Sozonovich, M.D. Frantseva, S.I. Cherepanov, I.V. Efimov about the Decembrists in scientific discourse. Thus, an attempt is made to solve the problem of the unexplored corpus of memoirs of Siberian authors in the literary (not historical-source) aspect, in the context of the formation of the Siberian text. In addition, a comprehensive view of these sources is proposed, combining genre, imagological, mythopoetic, cultural and historical approaches. In the course of the research, the author comes to the following conclusions. The memoirs of Siberians about the Decembrists not only reiterated the values and beliefs that the Decembrists themselves adhered to, but also represented a special original text, including an individual author's intention. The multilevel palimpsest structure of memoir sources, highlighting someone else's word, at the same time represents a text that is still uneven due to its genre "immaturity" (and unique in this). It synthesizes various ways of the author's representation of the surrounding reality. In addition, the memoirs of Siberians, as a fragment of a specific historical time in which differential points of view on events are mounted, also become one of the existing "versions" of the Decembrist myth.

Keywords: memoirs, Decembrists, disciples of Decembrists, image of Siberia, imagology, mythopoetics

For citation: Mikhaylenko, K.A. (2025) Memoirs of Siberian authors about the Decembrists. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 512. pp. 29–41. (In Russian). doi: 10.17223/15617793/512/4

Мемуаротворчество всегда сопряжено с авторской интенцией самопознания и самоидентификации в потоке исторических событий посредством нарративной практики, что способствует формированию исторического самосознания личности [1], включающего специфику мирообразов и мироощущений той страны, этноса, к которым мемуарист себя относит.

В этом смысле мемуары декабристов можно назвать духовной практикой, направленной на поиски

своего Я как в движении декабристов, в том числе в событиях 14 декабря 1825 г., так и в судьбе страны в целом. Воспоминания сибирских авторов о декабристах, на первый взгляд, далеки от исторической масштабности мемуаров А.Е. Розена или Н.В. Басаргина, но это тоже попытка вписать свою личность в общероссийскую историю, найти в ней свою роль, опосредованно – через осознание своей сопричастности к участникам декабристского восстания.

Кроме того, сибирская мемуаристика о декабристах – это пример «взгляда» на декабристов, декабризм, историю России извне по отношению к ним, из сибирской ментальности, проявившегося в оригинальном и самобытном тексте мемуаров.

Изучение воспоминаний сибирских авторов о декабристах, безусловно, является закономерным этапом в исследовании становления мемуарного жанра в сибирском тексте, включая специфику последнего, и в контексте выявления мифогенных образов, присущих Сибири и ее населению (аборигенам и временным жителям, в том числе декабристам). Отметим, что, несмотря на наличие многих работ, посвященных региональному литературному процессу, в том числе репрезентации образа Сибири (В.И. Тюпа, Б.А. Чмыхало, К.В. Анисимов, А.В. Юдельсон, В.А. Ламин, М.В. Шиловский, Н.Н. Родигина, А.Ю. Горбенко и др.), корпус мемуаров сибирских авторов о декабристах практически не исследован, их значение в развитии местной литературы не установлено, они лишь упоминаются в работах С.Ф. Ковалы, Т.А. Перцевой, Е.А. Кулешовой, В.П. Бойко, Т.П. Савченковой, О.П. Еланцевой. Наиболее полную картину, проясняющую состав корпуса мемуаров сибирских авторов о декабристах, представила Н.П. Матханова в монографии «Сибирская мемуаристика XIX века». Однако материал здесь осмысливается не с точки зрения филологического дискурса, а, скорее, как исторически значимый источник. Таким образом, обозначенные проблемы требуют осмысления в контексте системного изучения сибирских мемуаров как неотъемлемой части сибирского текста. Целью предлагаемой статьи является введение воспоминаний сибиряков о декабристах в научный оборот и их анализ как значимой части сибирской мемуаристики и как своеобразного диалога с декабристскими воспоминаниями о Сибири (см. об этом подробно в нашей статье «Образ Сибири в мемуарах декабристов»).

Изучение обозначенных вопросов связано, с одной стороны, с синтетической природой мемуарного жанра, представляющего собой, как известно, сплав документального и фикционального компонентов, с другой – со спецификой феномена Сибири как особого топоса и одновременно локуса (пространства инобытия, запускающего духовную инициацию героев), в котором находятся герои, повествователи мемуаров. Поэтому в работе используются базовые идеи имагологии как науки об интерпретации и создании образа «другого», концепция гетеротопии пространства М. Фуко и теория палимпсестной природы памяти Ж. Женетта. Кроме того, образ Сибири в мемуарах сибиряков рассматривается с точки зрения рецептивной эстетики и его мифотворческого и мифогенного потенциала. Используются также историко-литературный, культурно-исторический подходы и методики жанрово-стилевого нарративного анализа.

Корпус мемуаров сибиряков о декабристах можно условно разделить на две группы: мемуары сибирских учеников декабристов и последователей их идей (воспоминания Н.А. Белоголового, П.И. Першина-Караксарского, М.С. Знаменского, О.Н. Балакшиной, А.П. Созонович, Е.О. Дубровиной, М.Д. Францевой);

мемуары сибирских знакомых декабристов (воспоминания С.И. Черепанова, К.М. Голодникова, И.Ф. Парфентьева, А.К. Кузьмина), включая представляющие собой в некоторых случаях критические отзывы на публикации о декабристах (мемуары И.В. Ефимова, А.А. Лушникова, А.И. Лучшева). Материалом для статьи послужили воспоминания учеников декабристов, довольно близких к ним: Н.А. Белоголового, П.И. Першина-Караксарского, М.С. Знаменского, А.П. Созонович, М.Д. Францевой, а также мемуары знакомых С.И. Черепанова, И.В. Ефимова, транслирующие видение уже не такое близкое к декабризму и менее беспристрастное.

Анализ указанных источников включает: выявление смыслообразующих для базисных текстов тем, в том числе в их связи с мемуарами самих декабристов о Сибири и сибиряках; рассмотрение специфики образов Сибири, декабристов, самих сибиряков в контексте их мифогенного значения; изучение особенностей построения нарратива, включая функцию автора на документальном и фикциональном уровнях повествования.

Основной темой в мемуарах сибирских авторов о декабристах является, конечно, тема декабризма, осмысление которой происходит прежде всего в *лирических отступлениях*, отражающих индивидуально-авторскую рецепцию. Для примера приведем размышления Петра Ивановича Першина-Караксарского, родившегося и выросшего в селе Караксар на берегу реки Онон в Забайкалье, оставившего воспоминания о М.А. Бестужеве и И.И. Горбачевском, с которыми познакомился, будучи молодым человеком, в конце 1850-х – в 1860-е гг. В своих мемуарах он ставит вопрос о *месте и роли декабристов в русской истории*, затрагивая и социально-политический контекст восстания на Сенатской площади: *«Неудержимый ход истории народов делает свое дело не прерываясь, не останавливаясь идет вперед, делая государственное строительство. Тогда только маленькая горстка передовых русских людей пришла к сознанию неизбежности перехода от абсолютизма к свободе, от непроглядной тьмы к свету. И эта маленькая величина предприняла грандиознейший государственный переворот, оказавшийся не по силам и кончившийся гибелью цвета русской интеллигентной молодежи. Тогдашняя Россия крепостного права и чиновничества, можно сказать, сплошь малограмотная, была совершенно не подготовлена к гражданственности и свободным учреждениям, не имела достаточного контингента образованных людей, чтоб воспринять новые формы правления, проникнуться убеждением в их необходимости. Понятно, что попытка этой маленькой кучки людей не имела под собой почвы, а масса не только ее не поддержала, но даже встретила враждебно»* [2. С. 541].

Приведенный фрагмент, во-первых, передает представление мемуариста об истории как «неудержимом» и «неостановимом» развитии общества и «государственном строительстве», а также видение в декабристах *«цвета русской интеллигентной молодежи»*, передовых людей, каковыми их делали и такое понимание истории, и «сознание неизбежности перехода» от абсолютистской власти к «свободе».

Здесь важно обратить внимание на используемое автором понятие «переход», которое далее все же конкретизируется в понятии «государственный переворот», и синонимичное оппозиции «абсолютизм – свобода» метафорическое противопоставление «непроглядная тьма» – «свет». Не менее важно авторское понимание причин поражения декабристов: их малочисленность, отсутствие поддержки со стороны «чиновничества» и, главное, образования у большей части населения страны, что не дало передовым людям эпохи внедрить бескровным путем передовые идеи «гражданственности» в общество и привело к кровопролитию.

Эти проблемы выливаются в схожие размышления самих декабристов. Например, Н.В. Басаргин в своих «Записках» отмечал: *«И точно – много добрых людей на земле русской. Если бы только правительство пожелало действовать в духе народном, если бы несчастное придворное раболепство и эгоизм не ставили между государем и народом такой завесы, через которую трудно проникать его оку, то, конечно, и сам он, и народ его были бы и счастливее, и теснее, крепче связаны между собою!»* [3. С. 48].

Герой-повествователь воспоминаний Николая Андреевича Белоголового, получившего начальное образование в семье сосланного в Сибирь А.П. Юшневского, а позднее его учителем стал декабрист А.В. Поджио, рассуждает о причинах вступления братьев Поджио в ряды участников восстания, объясняя их деятельность не столько идеологическими убеждениями, сколько горячностью темперамента и рыцарским благородством. Задуманные для «возрождения России» «коренные реформы», в том числе отмена крепостного права, квалифицируются мемуаристом как «увлечение», порыв, «революционный пыл», подпитывавшиеся «надеждой на близкую перемену к лучшему»: *«Братья скоро завоевали себе видное положение как на службе, так и среди гвардейской молодежи и петербургского общества, так как отличались изяществом и красотой, прекрасным воспитанием и своими рыцарски благородными и в то же время живыми, чисто южными характерами. Нет поэтому ничего удивительного, что братья вскоре очутились в числе первых в том новом положении, которое, по возвращении наших войск из Парижа, распространилось в гвардии и в армии, точно так же, как нет ничего естественнее, что они со всею горячностью своих 20-летних южных темпераментов увлеклись идеею возрождения России путем коренных реформ и отмены крепостного права. Примерно до 1820 года братья Поджио считались в числе самых ревностных пропагандистов новых идей и самых деятельных посетителей тайных совещаний, но около этого времени революционный пыл среди их товарищей стал заметно остывать. <...> Александр Викторович, чувствуя полный разлад своих убеждений со служебною деятельностью и потеряв всякую надежду на близкую перемену к лучшему, решил бросить службу, вышел в 1822 или 1823 году в отставку и поехал помогать матери в деревенском хозяйстве»* [4. С. 25–26].

Кроме того, смыслообразующей в воспоминаниях сибиряков о декабристах становится тема *свободы*, но не физической, а духовной, идеи которой несли с собой

декабристы, сосланные в Сибирь, которую они демонстрировали сибирякам своей ежедневной жизнью. Так, герой-нарратор Першина-Каракарского, сравнивая два десятилетия XIX в. – 50-е и 60-е гг., подчеркивает кардинальные изменения, произошедшие в «маленьком горном мирке» Петровского завода, где дух свободы и просвещения, привнесенный декабристами, породил новое поколение людей, не угнетающих других, а соперничающих, сочувствующих окружающим, познающих себя в этом мире: *«Этот маленький горный мирок имел и свою интеллигенцию, группировавшуюся, разумеется, около Ивана Ивановича (Горбачевского. – К.М.). Интересы современной литературы были не чужды кружку, а также и литературы заморской, с «Того Берега», которая проникала в эти трущобы не без труда и риска. Но зрелые люди не злоупотребляли запретным плодом, не вели преступной пропаганды, свободное слово ничего не колебало, ни на что не вызывало, кроме тесно-семейных бесед втихомолку. Нельзя не сказать, что это слово благотворно влияло и на начальствующих, на их убеждения и на поступки в отношении к их подчиненным. Даже до освобождения прикрепленных к заводам крестьян прежняя жестокость стала уступать место человечности. Кто читал Герцена, тот уже не решался гнуть в бараний рог своего раба. Дух свободы, гуманности, гражданского долга веял точно в воздухе и облагораживал поступки предрержащих властей. Вспоминая эти добрые начала, сердечно радовавшие меня, я охотно их отмечал, как характеризующие горное начальство 60-х годов по сравнению с предшествовавшими»* [2. С. 55].

Повествователь очевидно акцентирует идею *«свободного слова»*, которое представляется ему, анализирующему историю из ее ретроспективы, даже в «трущобах» Сибири куда более действенным, чем кровопролитие, попытка свержения власти. Слова, «тесно-семейная беседа» «ничего не колебали», «не вызывали» на противоправные действия, не являлись «преступной пропагандой», постепенно воздействовали на людские души, побеждая в них жестокость «человечностью». «Дух свободы, гуманности, гражданского долга», «веявшие точно в воздухе и облагораживавшие поступки» даже «начальствующих», «предрержащих властей», явно гиперболизируются и идеализируются нарратором, утверждая в читателях мемуаров его просветительскую веру во внутреннюю свободу человека, его врожденную духовность, нравственность, склонность следовать «нравственным примерам», из которой следует концепция совершенствования общества, последовательного мирного развития истории путем постепенного самосовершенствования отдельной личности. К этим идеям в сибирской ссылке пришли многие декабристы, обратившись к «наиболее коренному и одновременно наиболее сложному», по словам Ю.М. Лотмана, вопросу о том, «каким образом система, оставаясь собой, может развиваться» [5. С. 7], и отказавшись от «исторических взрывов» в пользу «постепенного прогресса» и культуры.

Особым примером высокой духовности, нравственности, самопожертвования в мемуарах сибиряков являлись образы декабристок, дополняя и, как нам представляется, наиболее полно раскрывая тему декабризма в целом.

Так, герой-нарратор И.В. Ефимова, сибиряка, прошедшего детство среди декабристов и их родных, в «Заметках на воспоминания А.Ф. Львова» весьма подробно останавливается на своих воспоминаниях о женах декабристов, характеризуя и отношение сибиряков к ним: «...я хотел бы сказать многое о женах декабристов, но писать что-либо от себя лично в их защиту я считаю излишним. Обелять белое не нужно. Оставление в жертву долгу своего общественного положения и материальных средств, лишение не только всех удобств жизни, но и всех прав, и взамен того поездка к мужьям в глубь Сибири, в ссылку, навстречу всевозможным неудобствам и даже оскорблениям, как это и было на самом деле — все это говорит само за себя <...> Что же касается нас, сибиряков, то мы и через полвека вспоминаем о них как о живых примерах всего доброго, чистого и прекрасного и храним глубокую благодарную память к этим добровольным изгнанникам» [6. С. 563–564].

Одной из важнейших тем в воспоминаниях сибирских авторов о декабристах становится Сибирь. И если мемуары декабристов отражают восприятие Сибири извне, как «другой» мир (нереальную гетеротопию), то воспоминания сибирских авторов — это перцепция пространства изнутри. Вместе с тем мемуары местных жителей о декабристах представляют еще один вариант освоения «другого» («чужого») мира — декабристского — через привычное «свое». Так, понимание Сибири, родного для них края, происходит сквозь рецепцию декабристов, для которых Сибирь изначально выступала как мифическое замкнутое и закрытое пространство, изолирующее их от родного, лишавшее их идентичности. И несмотря на то, что образ Сибири в воспоминаниях декабристов однозначно эволюционировал, в них происходил слом мифа о «гиблой земле», в воспоминаниях местных жителей, которые росли в декабристской среде, Сибирь во многом запечатлелась именно как темное место, где отсутствуют образование и культура. Так, в воспоминаниях Першина-Караксарского Сибирь представлена отдаленной необразованной провинцией («Семь лет скачи, из Сибири ни до какого учебного заведения не доскачешь <...>. В далекой провинции, как Сибирь, в захолустных городках общество группировалось только в большие праздники, именины, свадьбы и крестины. В остальное буднее время все ютились по своим уголкам, в своих семьях») [2. С. 538]. Сибирь передается нарратором с помощью таких метафор: «пустынный край», «угрюмая холодная страна».

Ограниченность и примитивность интересов провинциального общества как примету сибирского социоландшафта конца 1820–1830-х гг. описывает и героиня повествовательница воспоминаний Марии Дмитриевны Францевой, дочери тобольского прокурора Д.И. Францева, активно общавшегося с декабристами, прежде всего, с Н.Д. Фонвизиной-Пушиной, братьями Н.С. и П.С. Бобрищевыми-Пушкиными, Ф.Б. Вольфом, П.Н. Свистуновым: «Общества почти никакого; круг чиновников тогда был очень неразвитый, грубый. Все удовольствия заключались для них в

вине и картах. Бывало, празднуют именины три дня, пьют и кушают целые ночи, уезжают домой на несколько часов, а потом опять возвращаются и кушают. Порядочному человеку, попавшему в их круг, становилось невыносимо. Купечество хотя очень богатое, но замкнутое тоже в своей однообразной, грубой среде» [7. С. 383–384].

Однако даже в этой пагубной среде декабристы не теряли своего человеческого достоинства и на долгие годы становились для немногочисленной сибирской интеллигенции, образованной молодежи примером порядочности, культуры, образцом для подражания, ориентиром в саморазвитии. В этом, уверяет повествовательница, ссыльным и каторжным декабристам помогал Бог. Например, в воспоминаниях описано пребывание П.В. Аврамова на каторге в Читинском остроге, а потом в Петровском заводе, потом на поселении в Чите, потом в Акшинской крепости, где он и умер в возрасте 46 лет: «Не легче было, конечно, и Аврамову, почти заживо погребенному в дикой, суровой стране, далеко от всего родного, близкого, цивилизованного. Но хороший человек не падает духом и везде, с помощью Божию, устроит себя так, что найдет возможным быть полезным другим» [7. С. 385]. Идеи привнесения пользы в общественную жизнь, сохранения силы духа в любых обстоятельствах навсегда закрепились в памяти Францевой как важнейшие характеристики декабристов и транслировались ею в мемуарах.

Очевидно, что миф о Сибири, высветивающийся в воспоминаниях сибиряков, повторяет декабристскую рецепцию края как холодной страны, что демонстрирует силу их влияния на местное население. Например, у Н.А. Белоголового, воспринимавшего спуск много лет свои юношеские образы Сибири, край предстает «*дебрями*», «*глухим и страшно удаленным от европейской жизни уголком*», в котором имеется одно лишь «*животное прозябание и самоопошление, какими отличалась жизнь тогдашнего провинциального захолустья*» [4. С. 48]. В этом смысле примечательна следующая ремарка автора о Сибири как о подземном царстве, откуда нет пути назад: «...все это происходило в 20-х годах, когда Сибирь представлялась издали каким-то *мрачным, ледяным адом*, откуда, как с того света, возврат был невозможен и где властвовал произвол таких легендарных жестокосердных воевод, которыми были только что сошедшие со сцены правители Пестель, Трескин и другие» [4. С. 32].

Будучи рожденным в Иркутске, Белоголовый в своих мемуарах, по сути, ретранслирует образ Сибири в восприятии декабристов первых лет их пребывания на каторге и в ссылке, который, в свою очередь, во многом повторял стереотипы Центральной России. При этом именно в воспоминаниях Белоголового находим подтверждение нашей мысли о том, что Сибирь для многих декабристов и их жен стала своего рода порталом в новый мир, возвращающим их в первобытие, где природа и человек неразделимы, где природные начала, свойственные народному сознанию, берут верх над сословными, навязанными обществом: женщины сами вскармливают своих детей и готовят пищу мужьям (мемуары П.Е. Анненковой), мужчины занимаются охотой и земледелием (мемуары А.Е. Розена).

Яркую иллюстрацию этого тезиса находим в следующем отрывке о Волконском: «*Старик Волконский – ему уже тогда было около 60 лет – слыл в Иркутске большим оригиналом. Попав в Сибирь, он как-то резко порвал связь со своим блестящим и знатным прошедшим, преобразился в хлопотливого и практического хозяина и именно **опростился**, как это принято называть нынче. С товарищами своими он хотя и был дружен, но в их кругу бывал редко, а больше водил дружбу с крестьянами; летом **пропадал по целым дням на работах в поле**, а зимой любимым его **временпрепровождением в городе было посещение базара**, где он встречал много приятелей среди подгородных крестьян и любил с ними потолковать по душе о их нуждах и ходе хозяйства*» [4. С. 36]. Здесь, конечно, слышны переключки с нравственно-социальной концепцией Л.Н. Толстого, с которым Белоголовый был знаком, хорошо знал он и его творчество, и его философские взгляды. Не разделяя его «проповеди христианского аскетизма, его отрицания науки», которые, по мнению Белоголового, «внесли много сумбура в молодые умы и имело, скорее, вредные последствия» [8. С. 654], мемуарист, по-видимому, скептически относился и к толстовской философии опрощения, что явствует из запечатленного в мемуарах отношения сибиряков к «старика-Волконскому» как «большому оригиналу»: речь идет о С.Г. Волконском, отбывавшем каторгу на Благодатском руднике, в Читинском остроге, в Петровском заводе. Воспоминания Белоголового относятся к периоду проживания Волконского с семьей в Иркутске.

Возможно, эти иронические интонации были вызваны и тем, что по возвращению из ссылки Волконский снова вошел в светское общество, проявляя интерес к политической жизни России и Европы: «*Возвращение же после амнистии в Россию, поездка и житье за границей, встречи с оставшимися в живых родными и с друзьями молодости и тот благоговейный почет, с какими всюду его встречали за вынесенные испытания, — все это его как-то преобразило и сделало и духовный закат этой тревожной жизни необыкновенно ясным и привлекательным. Он стал гораздо словоохотливее и тотчас же начал живо рассказывать мне о своих впечатлениях и встречах, особенно за границей; политические вопросы снова его сильно занимали, а свою сельскохозяйственную страсть он как будто покинул в Сибири вместе со всей своей тамошней обстановкой ссыльнопоселенца*» [4. С. 37].

Вместе с тем описываемая героем-нарратором Белоголового перемена в образе Волконского подтверждает нашу идею о сибирской гетеротопии, в которой время будто поворачивается вспять, обращая человека к первоистокам, смыслом привычные общественные отношения. В сибирском пространстве происходит кристаллизация личности и обретение своей настоящей бытийности. Возвращение же к привычным паттернам, с одной стороны, упрощает мировидение, детерминируя тем самым построение знакомых социальных связей, с другой – перед нами все же уже другая личность, обогащенная новыми апостериорными знаниями.

В этом смысле репрезентативен фрагмент из мемуаров Францевой, посвященный возвращению из Сибири в Россию М.А. Фонвизина: «*Тяжело было ему, одинокому, убитому горем, поселиться в родовом имении, где жили его отцы и деды, где все когда-то кипело жизнью, общию с ним, тогда как теперь он был **одинок и в среде общества, совершенно чуждого ему по взглядам и по понятиям**. Все, что было дорого ему на родине, лежало в свежих могилах, а все дорогое и близкое его сердцу: жена, приемные дети, товарищи, друзья, **все были далеко, в стране изгнания, куда неволью летело его сердце**. Он сам впоследствии передавал мне, какую сердечную муку пришлось ему вынести первое время по своему возвращении в Россию*» [4. С. 639].

Привычное, когда-то родное пространство России стало чужим для Фонвизина, а «чужое», изначально казавшееся враждебным и губительным пространство Сибири, буквально вывернувшее многих декабристов наизнанку, стало *своим*. По наблюдению мемуаристов, и не только сибиряков, декабристы возвращались на родину уже другими людьми, с Сибирью в сердце, навсегда сохранив уже то мировидение, которые пришло к ним и закрепилось в них в холодной стране: «*<...> любил очень беседовать с мужиками, вникал во все их нужды, помогал им и словом и делом. Все они имели к нему свободный доступ и большую доверенность. Гуляя с ним, мы часто заходили к крестьянам в избы, где все встречали его как родного отца; но несмотря на всю его доброту, он не потакал дурным их качествам и был неумолим, когда нужно было оказывать правосудие, что хорошо знали крестьяне и чтили его за это*» [9. С. 69], – так героиня-повествовательница Францевой описывает жизнь Фонвизина в России после каторги: неподдельный интерес к народной жизни, уважение к человеку из народа, демократизм, чем и поддерживался авторитет Фонвизина в народе, который подчеркивает повествовательница в мемуарах Францевой.

Демократизм как нравственно-этическое качество личности, присущий декабристам и укрепившийся у них в Сибири в способе восприятия себя как части целого, органично гармонировал с их аристократизмом как особой поведенческой моделью. Именно благородство, требовательность к себе и к окружающим не позволяли, например, М.А. Фонвизину «потакать дурным качествам» крестьян, а утонченной М.Н. Волконской, оставшейся и в Сибири светской дамой в самом высоком смысле этого слова, устроившей «*из своего дома главный центр иркутской общественной жизни*» [4. С. 40], принять христосование от пьяного чиновника, апеллировавшего к «народному обычаю», на что Мария Николаевна ответила с достоинством, что «*в России это не принято*» [10. С. 64].

Принципиально важно понимание того, что образ декабристов, транслируемый в мемуарах сибирских авторов, есть своего рода запечатление, закрепление в памяти, в том числе и читателей, образов ссыльных декабристов в период их пребывания в гетеротопическом пространстве Сибири, отражающем их переход в новое состояние личности. Возникавшая идеализация образов декабристов в Сибири в некотором смысле является следствием этого запечатления, произошедшего в

сознании мемуаристов в детском возрасте и породившего нечто вроде «реакции следования за родителем», укоренив в памяти ролевую модель учитель–ученик.

В связи с этим присущая рассматриваемым мемуарам идеализация образов декабристов и их жен, абсолютизация того влияния, которое на них оказало общение с ними, нередко доходит до предельных значений: «Они сделали меня человеком, своим влиянием разбудили во мне живую душу и приобщили ее к тем благам цивилизации, которые скрасили всю мою последующую жизнь. Более всех из них я обязан этим своим пробуждением Ал. Викт. Поджио» [4. С. 93], – заключает, например, герой-нарратор Белоголового, отдавая все заслуги в своем личностном становлении А.В. Поджио.

Несколько более сдержанны, но не менее патетичны интонации, с которыми Ефимов описывает воздействие декабристов на местное население, вводя в их образ черты, находящие отклик в религиозном народном сознании: самопожертвование, мученичество, смиренное принятие посланных им испытаний: «Преподобие декабристов в Сибири, насколько я знаю, едва ли оставило в ком-либо из нас, сибиряков, дурные о себе воспоминания. Напротив, оно имело **широкое образовательное влияние**, за которое многие из нас, а в том числе и я, храним искреннюю к ним благодарность. Не политических деятелей видели мы в них, а людей, которые тридцать лет сряду несли на наших глазах тяжелое наказание, несли его спокойно, с достоинством и верою в Промысел Божий» [6. С. 553].

Об этом прямо писал в своих мемуарах Н.В. Басаргин: «Лишив... нас всего и вдруг поставив на самую низкую, отверженную ступень общественной лестницы, оно (правительство. – К.М.) давало нам право смотреть на себя, как на очистительные жертвы будущего преобразования России; одним словом, из самых простых и обыкновенных людей делало политических страдальцев за свои мнения, этим самым возбуждало всеобщее к нам участие, а на себя принимало роль ожесточенного, неумолимого гонителя» [3. С. 53].

Таким образом, в мемуарах сибирских авторов формируется свой, сибирский, миф о декабристах, состоящий из нескольких смыслообразующих уровней, отражающих структуру рецепции нарраторов. Верхний (начальный) уровень освоения ссылокаторжных как некоего явления социокультурной действительности отражается в формировании образа **декабриста-просветителя**, который приносит в сибирское пространство новые знания: «...могу сказать, что Петровский Завод составлял для меня нечто похожее на академию, или университет, со 120 академиками или профессорами, напичканными многосторонними познаниями, которыми охотно делятся от скуки» [11. С. 31], – читаем в воспоминаниях С.И. Черепанова. Герой-нарратор Першина-Караксарского, характеризуя вклад декабристов в образование региона, также отмечает просветительское значение их пребывания в Сибири: «Нужно помнить, что окраинная Восточная Сибирь, разбросанная на тысячи верст, почти не имела учебных заведений, кроме иркутской гимназии. При всей жажде к просвещению молодежь оставалась без образования, довольствуясь только

текущей литературой, сжатой цензурными тисками. <...> Понятно, что декабристы ответили на запрос и были хоть для маленького кружка просветителями и учителями, разумеется, **учителями не в школьном смысле**. Впрочем, и в последнем случае по недостатку педагогического персонала они охотно брали на себя обязанности домашних учителей и руководителей по воспитанию юношества» [2. С. 537–538]. Здесь, как видим, появляется и иная характеристика декабристов как **духовных учителей**, наставников, которые способствовали нравственному возвышению местного населения и Сибири в целом. Характеризуя влияние М. Бестужева на своих подопечных, Першин-Караксарский писал: «Многие ученики его, что называется, вышли в люди и своим честным направлением и относительным образованием резко выделялись из окружающей среды купечества, в то время жившего по Домострою» [2. С. 544]. Одновременно темное население Сибири, жившее по Домострою, противопоставлялось цивилизованному образу декабриста, принесшего свет просвещения в «сибирские дебри».

В этой связи в мемуарных нарративах сибиряков о декабристах прослеживается и некий **мотив миссии** декабристов, их предназначения стать для местных жителей проводниками в мир просвещения и культуры, что в дальнейшем трансформируется в образ «народного» декабриста, выделяемый нами именно в мемуаристике сибиряков. Однако по мере продвижения авторов в пространстве памяти, углубляется и рефлексия, что обусловливает усложнение образа декабриста. Так, на следующем (более глубинном) условно выделяемом нами уровне проявляется **сакральная семантика** образов декабристов, отражающая индивидуально-ценностную картину мира сибиряков-мемуаристов.

Так, например, у Першина-Караксарского читаем: «Мы, молодежь того времени, за 200 верст ездили на **“поклонение” к Горбачевскому, как правоверные в Мекку**» [2. С. 544]. В ряде мемуарных сочинений учеников декабристов о своих учителях складывается своего рода концепция декабриста – **совершенного человека**, образ которого мыслится в следующих библейских категориях: нестяжание, кротость, смирение, покаяние, целомудрие (духовная чистота), безупречность, жертвенность. Например, в воспоминаниях Августы Павловны Созонович, ставшей после смерти матери воспитанницей М.И. Муравьева-Апостола, выросшей в кругу ссыльных декабристов И.И. Пущина, Е.П. Оболенского, И.Д. Якушкина, А.В. Ентальцева, Н.В. Басаргина. В.К. Тизенгаузена, появляется образ декабриста, в котором отражаются архетипичные характеристики прообраза Мессии, духовного Учителя: «Но вместе с тем перед ним **благоговели за чистоту его безупречной жизни и безграничную любовь к ближнему, благотельно отражавшуюся на всех, кто бы ни встречался на его пути. Его проницательный взгляд быстро подмечал выдающиеся в людях способности; он не пропускал возможности развить их, чтоб приложить к делу, ответственному положению человека, и считал себя счастливым, если ему удавалось ободрить кого-нибудь**, убедив, что и у него есть доля способностей, над которыми стоит потрудиться,

а не оставлять их под спудом» [12. С. 129], – так героиня-повествовательница описывает И.Д. Якушкина.

Не только поступки декабристов наделяются мемуаристами особым сакральным смыслом, но и их внешность: «<...> его длинные серебристые волосы были тщательно причесаны, его такая же серебристая борода подстрижена и заметно выхолена, и все его лицо с тонкими чертами и изрезанное морщинами делали из него такого изящного, картинно-красивого старика, что нельзя было пройти мимо него, не залюбовавшись этой **библейской красотой**» [4. С. 37], – так описывает Волконского герой-повествователь Белоголового.

Кроме того, сам образ жизни декабриста уподобляется монашескому, транслирующему идею простой, жертвенной жизни в скромной обители: «<...> старый князь, тяготея больше к деревне, проживал постоянно в Урике и только время от времени выезжал к семейству, но и тут – до того барская роскошь дома не гармонировала с его вкусами и наклонностями – он не останавливался в самом доме, а отшел для себя комнату где-то на дворе <...>» [4. С. 37].

Истинное смирение и в некотором смысле отречение от всего мирского подчеркивает героиня Францевой, характеризуя П.С. Бобрищева-Пушкина: «Посвятив свою жизнь на служение ближнему, он старался во многом изменить свои привычки, любил читать Св. Писание, которое знал не хуже настоящего богослова, вел жизнь почти аскетическую, вырабатывая в себе высокие качества смирения и незлобия, ко всем был одинаково благорасположен и снисходителен к недостаткам других. В Тобольске он занимался еще изучением гомеопатии и там много помогал своим безвозмездным лечением, что к нему постоянно стекался народ, особенно бедный» [7. С. 410].

На данном уровне семантики образов декабристов проявляется и идея жертвенного подвига, переплетающаяся с концепцией «постепенного прогресса», в их образах видятся настоящие «образцовые русские патриоты»: «...в душе он был чисто русский человек и безгранично любил Россию <...> просвещенным чувством истинного патриота, которое видит первое условие для благоденствия родины в правильном и постепенном прогрессе, жертвует собственной личностью для достижения этого благоденствия и не разочаровывается и не падает духом, когда его самопожертвование не приносит явного результата» [4. С. 23], – повествует герой-нарратор Белоголового об А.В. Поджио.

Мотив самопожертвования постепенно складывает в мемуарах сибирских авторов образ «**народного**» декабриста, деятельность которого обусловлена стремлением к увеличению народного блага. Примечательна в этом смысле история об И.И. Горбачевском, которого народ, по воспоминаниям Першина-Каракасарского, называл не иначе как «**патриархом**» (существительное, как известно, полисеманлично: это и титул духовного лица, и старейшина родовой общины, и наиболее почитаемый в коллективе человек):

«Купленное зерно он размалывал и муку раздавал в долг жителям завода и окрестным крестьянам. Долги, разумеется, собирались туго и частью совсем пропадали.

– Обождите, пожалуйста, Иван Иванович, до осени, отдам с благодарностью.

И осень прошла, и весна подошла, – долг остался, да еще подоспела новая нужда и новая ссуда.

– Да, что же, матушка моя, как же это будет? Мне ведь надо самому пшеницу-то купить, где же я буду деньги брать?

Перед Иван Ивановичем был из деревни Подлопоток Сидор Евстафьев, а не «матушка», но Иван Иванович привык всех мужиков называть «матушка моя». И вот «матушка моя» разжалобит разными невзгодами и снова получает мучки пудик-другой, да и крупки не забудет припросить» [2. С. 552].

Здесь очевидны библейские смыслы образа «патриарха»-декабриста: раздача хлебов, отпущение долгов, равная ко всем любовь и готовность помочь.

Для многих сибирских авторов участие декабристов в их личной жизни стало по-настоящему глубоко вошедшей в память историей, определившей всю их жизнь. Например, герой-рассказчик воспоминаний Михаила Степановича Знаменского, ученика И. Якушкина, открывшего школу в Ялutorовске для детей мещан и крестьян, описывает следующий случай: «Мы жили тогда бедно, и Фон-Визины **старались помочь нам, чем могли**. Помню, в это время отца перевели на службу в город Ялutorовск. Отцу не хотелось отрывать моего старшего брата Колю от наладившегося уже ученья. Тогда Фон-Визины предложили отцу взять Колю к себе на воспитание. Отец согласился» [13. С. 101]. У самого Михаила Степановича Знаменского декабристы открыли способности к рисованию, они привили ему любовь к литературе, впоследствии помогли ему получить духовное образование в Санкт-Петербургской образцовой духовной семинарии, которую он окончил по классу живописи. В своих воспоминаниях он писал: «С того времени, как я начал помнить себя, и до 23-х лет, я был с ними (декабристами. – К.М.). И если теперь подлость, низость и взятки болезненно действуют на меня, то этим я обязан людям, о которых всегда говорю с почтением и любовью» [13. С. 101]. Николай Степанович Знаменский, окончив Казанскую духовную академию, тоже преподавал в Тобольском духовном училище, потом стал успешным чиновником, сочетая свою службу с широкой просветительской деятельностью.

Мифотворчество сибиряков, относящееся к декабристам, развивалось и в народных мифах о «сверхъестественных» способностях ссыльнокаторжных. Овеянные тайной, они порождали наполненные мистическими мотивами истории среди необразованного простого люда, не имевшего близких знакомств с декабристами, что также нашло отражение в мемуарах сибирских авторов.

Например, герой-рассказчик воспоминаний Знаменского передает услышанный однажды им, семилетним ребенком, разговор: «Вечером, когда жарко топились печь, хозяйская дочка, барышня, рассказывала о декабристе Якушкине: – Якушкин? Ой какой страшный... В вострой шапке, с усами... У него во дворе есть высокий столб. Он часто на него лазит. Говорят, он

колдует... погоду делает. Он тоже из несчастных» [13. С. 102].

Героиня-повествовательница Созонович подтверждает существование подобных рассказов о Якушкине: «...Иван Дмитриевич в самом деле подозревался в чернокнижии за собрание растений (он составлял гербарий растений Тобольской губ.), постоянную письменную работу, за клейку различной величины глобусов из картона, чтение книг, сначала даже и за катанье на коньках в отдаленной от города местности по р. Имбирею, так как он поздною порой при лунном свете неожиданно вылетал стрелой из развалин водяной мельницы и исчезал из вида случайных наблюдателей. При подобной обстановке в высокой, почти остроконечной шапке, в коротенькой шубейке, перетянутой кожаным ремешком, весь в черной одежде, при его худобе он должен был казаться народу **колдуном**, стремительно летевшим на пир или на совет к нечистой силе» [12. С. 128–129]. Объясняя все кажущиеся мистическими действия Якушкина его научными занятиями, любовью к активному образу жизни, подчеркивая его неординарный наряд, повествовательница чутко улавливала пропасть между народным языческим сознанием, уживавшимся с христианской верой, и сознанием просвещенного, образованного человека.

Таким образом, в мемуарных текстах проявляется индивидуально-авторская дифференциация точек зрения в отношении декабристов. Если ученики, близкие знакомые из числа местной интеллигенции воспринимали их прежде всего как своих учителей, как образцы жизнестроения, то крестьянский люд отнесся к декабристам изначально с настороженностью. В попытках понять другой (чужой) для их мировидения элемент, народ выстраивал свой миф, в котором образ декабриста тоже наделялся универсальными функциями, сверхчеловеческими возможностями воздействовать на всё и на всех, но эти возможности объяснялись связью с нечистой силой.

Показателен диалог крестьян, приведенный в воспоминаниях Знаменского:

«— Кто ж такой?

— Барин какой-то. Сказывали — Якушкин.

— С какого он боку барин? **Такой же как и наш брат — варнак**, — отозвалась кухарка.

— Да ты его за что? — вступился Петр.

— Сослал — значит, варнак. Был барин, да сплыл...

— Варнаков, тетка, секут, вот как нас с тобой, а его нет.

— Все едино, — продолжала мужеподобная девица и потом спросила

— Тебя за что?

— Я, вишь, мальчишкой от барина убежал; да все и бродяжил. Я — не помнящий.

— Ну, а я с барыней не помирила... А они, говорят, **хуже, хотели царя убить...**» [13. С. 102].

Здесь видим еще один ракурс восприятия декабристов: они — **варнаки**. Так в Сибири называли каторжников, ссыльных, в том числе беглых, позднее слово стало бранным, обозначая человека с преступными наклонностями. Так же в Сибири называли воров, мо-

шенников. Судя по диалогу, декабристы хуже варнаков, каковыми, как выясняется, Петр и «тётка» сами являются, поскольку декабристы совершили гораздо более тяжкое преступление, они **«хотели царя убить»**. Примечательно употребленное, по оценке повествователя, «мужеподобной девицей» вводное слово «говорят», подчеркивающее мотив тайны, слухов, покрывающих этих людей. Обращение Петра к женщине, участвующей в диалоге, «тётка», также как и ее оговорка «говорят», подчеркивает в передаче этого разговора повествователем, прежде всего, необразованность, невежество, неразвитость обоих.

Однако сибиряки постепенно привыкали к декабристам, впускали их в свою повседневность. Следствием этого стали достаточно частые обращения местных жителей за помощью к ссыльным, о чем также свидетельствуют мемуарные тексты сибирских авторов. Например, герой-повествователь Знаменского приводит следующую историю: «В передней хлопнула наружная дверь, и зазвонил колокольчик. Кто же это? <...> Там стоял промокший насквозь пожилой крестьянин, пришедший, по его словам, к его благородию с просьбицей насчет своего делишка. И он спокойно безыскусственным слогом начал повествовать о своих горьких хождениях по судебным мытарствам. <...> Пуцин предложил ему еще несколько вопросов. Записал, что нужно и, пообещав крестьянину похлопотать за него, возвратился к компании, сидевшей молча под влиянием тяжелого рассказа. <...> Пуцин сел к письменному столу и принялся за письмо. Всем сделалось легче, потому что все знали — в письме излагается дело только что ушедшего «Антон Горемыки». Все знали, что письмо Пуцина к губернским друзьям имеет большой вес. Знали это ялutorовцы и поэтому вскоре после его прибытия в город устремились к нему все униженные и оскорбленные, предпочитая его всем дипломированным адвокатам» [13. С. 110].

Как видим, в воспоминания сибиряков входят образы декабристов, всегда готовых помочь просящим, принять активное участие в судьбах крестьян, чем со временем они и заслужили народное сибирское признание. Так мемуаристы отражают еще одну грань создаваемого ими образа декабриста — человека добродетельного, несущего свет просвещения, служителя народа. А в целом многогранный образ декабриста, созданный в воспоминаниях сибиряков, включает следующие мифологемы: просветитель, духовный учитель, защитник и служитель народа, наделяемый чертами сакральности, с одной стороны, и колдун, чернокнижник, варнак, преступник, поднявший руку на царя, «чудной» — с другой стороны.

Одной из характерных черт жанровой поэтики мемуаров сибиряков о декабристах является их **портретность**: практически каждый из текстов посвящен описанию реальных исторических лиц, которые, будучи пропущены сквозь сознание мемуариста, наделяются индивидуальными характеристиками. «Индивидуальность конкретного реального человека, показываемая и интерпретируемая как неповторимо-целое, является тем центром притяжения, тем полюсом, к которому тя-

готеют и вокруг которого как бы располагаются различные элементы синтетического жанра», – писал по этому поводу В.С. Барахов [14. С. 48]. Именно историческая личность становится смыслообразующим центром в мемуарном дискурсе, направляя движение нарратора по типичной траектории: от характеристики личности к историко-культурным обобщениям. Таким образом, воспоминания сближаются, но не отождествляются с жанром литературного портрета, вплетая его элементы в общую повествовательную канву, выводя мемуары на метажанровый уровень¹. Можно сказать, что портрет как «синтез исторического и литературного, субъективного и объективного, реального и “домысливаемого”» [15. С. 10] становится основным художественным приемом, формирующим образ декабриста в мемуарах сибирских авторов, где очевидно стремление к психологизму.

Так, в воспоминаниях Белоголового создана целая портретная галерея декабристов (А.П. Юшневский, М.К. Юшневская, А.В. Поджио, О.В. Поджио, А.З. Муравьев, П.И. Борисов, А.И. Борисов, А.И. Якубович, Н.А. Панов, С.П. Трубецкой, Е.И. Трубецкая, С.Г. Волконский, М.Н. Волконская), позволяющая наиболее объемно увидеть декабристское общество в Сибири². Подробные, полные портреты декабристов, в которых переплетаются, дополняя друг друга, внешние и внутренние черты, составляют основу мемуаров Першина-Караксарского (М.А. Бестужев, И.И. Горбачевский, М.К. Кюхельбекер) и Францевой (М.А. Фонвизин, Н.Д. Фонвизина, П.Н. Свистунов, П.С. Бобрищев-Пушкин, Ф.Б. Вольф).

Кроме портретов декабристов, некоторые мемуарные тексты содержат характеристики местных жителей, что также способствует формированию объемного изображения описываемого биографического фрагмента. Так, например, в мемуарах А.П. Созонович появляются характеристики Анисьи Николаевны Балакшиной, дочери ялutorовского купца Н.Я. Балакшина, сблизившегося с И.И. Пушным, участвовавшего в организации И.Д. Якушкиным школы для мальчиков с ланкастерским методом обучения и женской школы. В этой школе, будучи наставницей Якушкина, училась, а потом преподавала Анисья Николаевна. Повествовательница воспоминаний А.П. Созонович представляет и портрет протоирея Стефана Яковлевича Знаменского, настоятеля курганского Троицкого собора, также участвовавшего в открытии школ Якушкина.

В стремлении создать выразительный многогранный образ декабриста, сибирские авторы нередко прибегают к достраиванию действительности вымыслом, переводя повествование из документального, фиксирующегося достоверные факты, припоминаемые автором, в художественное, отличающееся мелкими деталями, вряд ли воспроизводимыми по памяти или такими, о которых мемуарист не мог знать, подобранными им в процессе создания мемуарного текста: «Якушкин выкурил еще трубку, пожелал покойной ночи и тоже вышел. Домой ему не хотелось. Он повернул к темневшим вдали роцам... Он обдумывал вопрос: каким образом о сегодняшнем событии дать знать в губернский город Тобольск? И он шагал дальше и

дальше от мирно спящего города. Где же причина окружающего зла? Причина: всеобщее беспросветное невежество и глупость. Вот с ними-то и надо вести борьбу... Нужно доказать, что нужно вести борьбу даже и тогда, когда руки у тебя крепко связаны. И он шагал дальше и дальше, стараясь успокоиться» [13. С. 106], – читаем в воспоминаниях Знаменского, запечатлевшего даже внутренний монолог декабриста. Очевидно, что созданный автором образ Якушкина шире реального воспоминания из раннего детства. В данной сцене биографический автор воплощается в образе Знаменского-рассказчика, при этом субъектность Знаменского-героя переходит на Якушкина-героя, который будто действует сам по себе, безотсылочно к памяти мемуариста.

Таким же самостоятельным, действующим персонажем становится Муравьев: «Муравьев же вовсе не смыкал очей в эту ночь. Оставшись один в своем кабинете, он беспокойно принялся бегать из угла в угол. По временам он бросался в свои покойные кресла и принимался за газеты, привезенные Каролиной Карловной, но буквы и строчки мелькали в его глазах. И он бросал газеты, брался за трубку и снова принимался мерять диагональ своей комнаты. Так и прошла вся ночь. Утром по обыкновению он вылил на себя в бане два ведра холодной воды и почувствовал себя бодрее. Он вышел на чистый дворик, сияющий утренним светом. На крыльце сладко спал пожарный, охранявший приезжую. Вскоре явился к чаю Якушкин и рассказал о своем предприятии. Мрачное расположение духа Муравьева сменилось надеждой и он застучал по клавишам» [13. С. 107].

И чем далее мы продвигаемся по ткани мемуаров Знаменского, тем отчетливее проявляются отличительные черты именно **художественных образов героев**: «Якушкин готовил необходимые наглядные пособия для школы – склеил превосходный большой глобус. Он с любовью смотрит на свое произведение. Грезится ему, что пройдет немного годов и в Ялutorовске и его окрестностях не останется ни одного безграмотного; умная, честная, хорошая книга заменит и вытеснит штоф водки; может быть, имена их, невольных временных жильцов, будут помянуты с любовью. Окончив глобус, Якушкин подошел к столу, чтобы записать свои метеорологические наблюдения: барометр предсказывал грозу» [13. С. 108].

В конструировании мемуаристом исторического события проявляется так называемый «фермент “недоверности”», заложенный в самом существе жанра» воспоминаний [16. С. 9], детерминированный субъективностью индивидуально-авторской рецепции. В этой связи воссоздание фрагментов реальной действительности дистантно во времени, с учетом настоящей для автора точки зрения, приводит к формированию нового мирозобраза, в котором существенно значим фикациональный компонент. Это, в свою очередь, формирует новый, эстетически организованный уровень мемуарного повествования, надстраивающийся над документальным. Такого рода синтез документального и художественного приводит к усилению эмоционально-экспрессивного воздействия на читателя мемуаров.

Более того, редуцированный факт исторической действительности может оказаться менее значим, чем эстетически оформленный комплекс, выраженный в созданных автором-творцом документально-художественных образах, транслирующих оригинальную точку зрения, пропущенную через эстетическую картину мира мемуариста и его ценностные установки. В ней прослеживаются внутренние процессы самонаблюдения автора, его внутренняя динамика, через которую реализуется построение образов мемуарного произведения.

Наряду с этим мемуары имманентно интертекстуальны, вследствие чего обладают своеобразным нарративным многоголосием. Оно выявляется прежде всего в использовании автором чужого слова, которое, конечно, являясь примером транстекстуальных отношений, становится той самой спецификой мемуарного нарратива, что, в свою очередь, приводит к формированию многоголосого опосредованного чужим сознанием повествования, для которого имманентна речевая фрагментарность и особая авторская модальность. При этом вшитое в мемуары чужое сознание постоянно высвечивается. Например, когда герой-нарратор Белоголового представляет портрет А.П. Поджио, он отмечает, что данные для него были позаимствованы из рассказов самого декабриста: «<...> из рассказов А.В. Поджио за это время я ничего не мог бы прибавить такого.. что дало бы новые и доселе еще неизвестные подробности» [4. С. 26].

Мы видим в мемуарном тексте наличие внутри одного нарратива другие протонарративы, послужившие неким первичным текстом, что соотносимо с **нарративным палимпсестом**, где один текст просвечивает через другой, «вплоть до главного – архитекта» [17. С. 222]. В нашем случае это, скорее, архинарратив: рассказы реальных людей, их воспоминания, воспринятые мемуаристом, переработанные и актуализированные (концептуализированные) им как собственные воспоминания, транслируемые нарратором. Вследствие этого мы можем говорить о многоголосом мемуарном нарративе и, более того, интернарративе (подобно интертексту), который является отражением не только инкорпорированных в мемуарный текст индивидуализированных чужих сознаний, но и воплощением общей памяти народа. В этом смысле понятие палимпсеста представляется весьма продуктивным в понимании природы мемуарного нарратива, в том числе в связи с мифотектоникой сибирского текста.

С одной стороны, палимпсест присутствует как способ организации человеческой памяти вообще, где мысли и воспоминания находятся в бесконечном наложении, просвечивая друг через друга, переплетаясь в своей одновременности [18. Т. 1. С. 101]. С другой, говоря о сибирском тексте как некоем мифогенном архитексте, мы улавливаем «напластывание текстов – семиотическое образование палимпсестного характера» [19]. Текст «явно или тайно» оказывается «связан с другими текстами» [18. Т. 2. С. 338] в единую сеть, где особый интерес представляют именно общие смысловые узлы, в нашем случае – это мифологемы Сибири, прежде всего, как ключевого топоса и декабристов как

осмысляемых в историческом контексте субъектов. Кроме того, сама память как палимпсестная структура в то же время становится частью мемуарного повествования.

Например, у Белоголового читаем: «*Доктор Вольф умер тоже в первой половине 40-х годов, а потому я его не помню, но память о нем долго сохранялась в иркутском обществе, как о весьма искусном и гуманном враче; вера в него была такая, что и двадцать лет спустя мои иркутские пациенты мне показывали его рецепты*» [4. С. 31]. Как видим, в мемуарный текст входит ключевой **мотив памяти**: вещи, связанные с декабристами, бережно хранятся нарратором, а истории, составляющие основу народных «преданий» о декабристах, передаются читателям, обрастая новыми деталями.

Мотив памяти в мемуарах проявляется и в фиксации самого процесса вспоминания прожитого опыта, что выражается, в том числе, на языковом уровне авторской модальности, например, в присутствии следующих слов-маркеров: *кажется, помню, видно, чуть ли, смутно припоминаю, не могу наверное припомнить, вспоминается, забыл* и др. Эфемерность воспоминаний выражается и в целых синтаксических конструкциях: «*память мне изменяет, и я смутно вызываю в себе только немногие подробности этого первого приезда нашего в М. Разводную*» [4. С. 2]; «*невольно должен ограничиваться только смутными воспоминаниями, которые у меня сохранились, причем все крупное и рельефное проходило для меня незамеченным, а врезывались в памяти все такие впечатления, которые более были доступны моему детскому пониманию*» [4. С. 9].

Кроме того, именно в воспоминаниях Белоголового ярко проявляется не только индивидуализированный протонарратив (рассказ Поджио), но и коллективный, по своей природе сближаемый со **слухами**. Так, в портрете Волконского встречаем прямое на то указание: «<...> в городе носился слух, что он был очень скуп». Сюда же можно отнести характеристики образов Волконской («*Говорят, она была хороша собой, но, с моей точки зрения 11-летнего мальчика, она мне не могла казаться иначе, как старушкой, так как ей перешло тогда за 40 лет*» [4. С. 37] (в этом примере отражается авторская рефлексия о памяти, осознание искаженности воспоминаний, в данном случае, в силу юного возраста нарратора) и Трубецкой («*иного отзыва о ней не слыхал, как тот, что это была олицетворенная доброта, окруженная обожанием не только своих товарищей по ссылке, но и всего оекского населения*» [4. С. 35]). Можно сказать, что рассказы о декабристах, передаваемые из уст в уста, образуют аутентичный фольклор о ссыльных, ретранслируемый в мемуарах сибирских авторов.

Но не только народное слово и народная память вплетены в мемуарную ткань сибирских воспоминаний о декабристах, в ней встречаются целые фрагменты из «чужих» текстов, например, письма М. Бестужева и И.И. Горбачевского, включенные в воспоминания Першина-Караксарского; или песни в мемуарах Знаменского («*Бывало, в доме преобишном, / В кругу*

друзей, среди родных/ Живешь себе в веселье мирном/ И спишь в постелях пуховых» [13. С. 104]), или цитаты из чужих воспоминаний в записках Ефимова (Л.Ф. Львова, А.Ф. Фролова, А.И. Одоевского, А.П. Беляева).

Эта вторичная рецепция, отсылки (явных – письма Бестужева или неявных в форме реминисценций) к другим текстам и нарративам отражает жанровую особенность мемуаров, обусловленную наличием разного рода транстекстуальных отношений. В текстах воспоминаний органично переплетается авторское слово, выраженное героем-повествователем, и слово чужое, за которым скрыт иной текст. Эта многослойность, приводящая к композиционной и содержательной сложности, и характеризует мемуары как палимпсест, в котором не только присутствует скрытый текст, но и просматривается за индивидуально-авторским нарративом чужой протонарратив.

Помимо того, одной из характерных черт анализируемой мемуаристики является композиционная мозаичность. Такую особенность можно соотнести с приемом монтажа, в котором «преобладает прерывность (дискретность) изображения, его “разбитость” на фрагменты» [20. С. 277], что обусловлено спецификой памяти человека, где действительность рецептируется фрагментами реальности, выхваченными в определенном времяпространстве и закрепленными в виде ярких значимых для реципиента кадров. Однако, обладая фрагментарностью, тексты воспоминаний не являются в полной мере фрагментарной прозой в том смысле, в котором данный термин используется некоторыми исследователями литературы [21]. Мемуары обладают четко определяемой авторской интенцией, они всегда вписаны в исторический контекст и, несмотря на присущую им свободу (в смене точек зрения, в переключении ролей, в перемещениях между разными время-пространствами), они все же ограничены и документально-художественной формой, и жанром как таковым. Фрагментарные воспоминания (отпечатки, запечатленные кадры действительности) в процессе их ретрансляции и фиксации монтируются (сшиваются) в единый целостный текст, отражающий сложный комплекс авторских впечатлений, ассоциаций (опыт), авторской модальности, которая, в свою очередь, «открыто эксплицирует концептосферу языковой личности» и передает стратегию повествования [22. С. 13].

При этом наиболее важное значение имеет связь кадров (узлов повествования), опосредуемая фигурой автора. Это могут быть вставные истории (например, про ссыльного М.С. Гаевского, причастного к движению декабристов, у Белоголового), ретроспективы и проспекции, различные точки зрения. Все это свидетельствует об особом положении автора по отношению к описываемым событиям, в котором он внеаходим героям и всему художественному миру, он над ними, в другом пространственно-временном континууме. Эта позиция «над» событиями, характеризующаяся, в том числе, знанием автором всей полноты картины, отличается «эпической широтой» [20. С. 279–280].

Так, воспоминания Белоголового, начинающиеся с первой встречи с декабристами, затем переносят читателя из детства автора в его юность, и уже с этой точки зрения они описываются повествователем, фиксирующим произошедшие за это время изменения в их жизни: А.В. Поджио женился, стал отцом, занялся золотодобычей; П.И. Борисов «окончательно погреб себя заживо в малоразводничском домике, из окон которого только и был видел мертвый двор, поросший крапивой, лебедой и лопухом, и где он доживал свои дни вместе со своим помешанным братом Андреем и старым котом Гарушиным» [4. С. 93]. Существует и еще одна позиция нарратора – времени написания мемуаров, отражающая эмоциональную индивидуально-авторскую рефлексию с высоты прожитых лет: «Писал я эти воспоминания, будучи сам 60-летним и больным стариком, стоя одною ногой в гробу и желая перед смертью очистить свою совесть, воздавая должное этим людям за то, чем считал им себя обязанным и за что внутренне благодарил их всю жизнь» [11. С. 41].

Герой-повествователь Першина-Караксарского не только свободно перемещается во времени, но и меняет функции автора: «Таков был **первый день моего знакомства с Михаилом Александровичем Бестужевым. Этому минуло чуть не полвека, а в настоящее время, когда я решился огласить в печати мои воспоминания, исполнился 80-летний юбилей со дня декабрьских дней**» [2. С. 540] – рассказчик сначала перемещается из 1859 г. в 1905 г. (где он уже в роли повествователя), потом в 1925 г. (внеаходимый автор-творец): «**Восемьдесят лет тому назад, 14 декабря, лучшие образованные люди того времени на Сенатской площади кровью запечатали свои идеи**» [2. С. 540]. Это «трансгрессирование» нарратора создает сложную и невероятно объемную картину конструируемой действительности, затягивающую имплицитного читателя, который вслед за героем-повествователем становится своеобразным путешественником во времени. В этом проявляется специфическая динамика мемуарного произведения, где ретроспективный взгляд, чередующийся с проспекциями («**Неволью увлекшись физиономией Петровского Завода, я сделал опять значительное отступление и прервал нить рассказа. От удручающих картин перехожу к более светлым**» [2. С. 558]), осложняется и рефлексивной позицией автора из будущего.

Таким образом, в мемуарах сибирских авторов о декабристах встречаем явное смещение в сторону фикциональности повествования. Репрезентация их центральных образов – декабристов, проявившаяся в некоторых мемуарных текстах в позиции авторской внеаходимости, привела к проявлению «избытка видения» и конструированию нового художественного мираобраза. Герои начинают жить в нём своей собственной, неподвластной мемуаристу жизнью, что проявляется в субъективной индивидуализированной траектории движения в мемуарном пространстве как на физическом уровне (перемещение в пространстве), так и на уровне внутренней жизни героя (мысли, чувства, переживания). Такая авторская позиция мемуари-

ста отличается от той, в которой находились декабристы, создавая свои воспоминания. В этом – специфика мемуарных текстов сибиряков, посвященных декабристам, в которых осознанное продуцирование фикционального уровня произведения было обусловлено конструированием сибирского мифа о декабристах.

В связи с этим закономерным результатом социокультурного влияния декабристов на регион, на формирование местной литературы, где одним из начальных продуктивных жанров становятся мемуары, в том числе посвященные ссыльноаторжным. Наполненные эмоциональной рефлексией (переживанием переживания) воспоминания задают иной угол зрения, изнутри, на общество декабристов, и в их лице – на центральную Россию, ее передовые идеологии. При этом процесс создания мемуаров как диалог с нехудожественной действительностью, отражающий дистантную рефлексии, сложную по своей структуре, задает тот особый эмоционально-экспрессивный уровень авторской модальности, который отражает аутентичный мифотектонический подтекст, характерный как для корпуса воспоминаний сибирских авторов, так и для всего сибирского текста. Последний, в свою очередь, есть политекстуальное единство, в котором происходит взаимоложение текстов, образующее мегатекстовое смысловое пространство [19].

Говоря о некоем семантическом ядре воспоминаний сибиряков о декабристах, отметим наличие в них ретрансляции народных преданий, фольклора, комплекса авторских нарративов, что формирует сибирский миф о декабристах как один из существующих «изводов» [23. С. 9] декабристского мифа в целом, который становится не только источником ключевых компонентов образа декабриста в Сибири XIX в., но и способом осмысления движения истории и человека в ней, ведь «не существует другого способа приобретения понимания любого общества, включая наше собственное, кроме освоения множества историй, которые составляют исходный драматический ресурс общества. Мифология, в ее исходном смысле, есть сердцевина вещей» [24. С. 292]. Действительно сибирский миф о декабристах – мифогенный центр в декабрист-

ском дискурсе в целом. Так, основополагающими мифологемами в сибирском мифе о декабристах можно назвать подвиг принесения себя в жертву, подвиг дарения «Прометеева огня» (просвещения), подвиг самоотречения. Это смысловое наполнение образа декабристов способствовало формированию образа героя-декабриста, который был достаточно продуктивен вплоть до конца XX в.

Кроме того, в мемуарах сибирских авторов проявляются и другие специфические черты сибирской мемуаристики. Еще неуверенная, находящаяся в процессе зарождения, она была достаточно фрагментарна и эклектична. Порой чересчур «сухая» и документальная (например, воспоминания О.Н. Балакшиной), иногда она являет собой настоящее художественное повествование, где биографические герои обладают самостоятельным голосом (многоголосие в мемуарах М.С. Знаменского). В сложной палимпсесной структуре мемуарного нарратива сибирских авторов высвечиваются не только транстекстуальные отношения сами по себе, но и видится социокультурная диалогичность, выразившаяся, в том числе, в центральном пространстве трансграничья, где находятся не только сами декабристы (гетеротопия, переходное пространство), но и, опосредованно, их ученики, для которых Сибирь – это уже утопичное пространство, формируемое в процессе воспоминания. Такая многоуровневая структура мемуарного произведения, насыщенная отсылками, вставными текстами, чужой речью, соотносится с монтажной организацией композиции, в центре которой вненаходимый автор, видящий и пространство, и действующих в нем лиц из иного пространственно-временного континуума. Органично меняя роли и точки зрения, автор-творец разворачивает перед читателем своего рода панораму Сибири, где живет его герой-праведник, декабрист.

В этой связи можно утверждать, что мемуары сибирских авторов о декабристах, обладающие самостоятельным социокультурным объемом, содержащие попытки реконструкции исторической действительности и ретранслирующие народную память, принципиально важны в изучении сибирского текста в контексте регионального литературного процесса.

Примечания

¹ Подробнее см.: Кириллова Е.Л. Мемуаристика как метажанр и ее жанровые модификации: На материале мемуарной прозы русского зарубежья первой волны : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Владивосток, 2004. 28 с.

² См., напр., портрет А.П. Юшневского.

Список источников

1. Тартаковский А.Г. Мемуаристика как феномен культуры // Вопросы литературы. 1999. № 1. С. 35–55.
2. Першин-Караксарский П.И. Воспоминания о декабристах // Исторический вестник. 1908. Т. 114. С. 537–569.
3. Басаргин Н.В. Записки Николая Васильевича Басаргина. М. : Тип. Ф. Иогансон, 1872. 171 с.
4. Белоголовый Н.А. Воспоминания и другие статьи. М. : Типо-лит. К.Ф. Александрова, 1897. 654 с., 9 л. ил.
5. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.: Гнозис; Издательская группа «Прогресс», 1992. 272 с.
6. Ефимов И.В. Заметки на воспоминания А.Ф. Львова // Русский архив. 1885. № 12. С. 553–564.
7. Францева М.Д. Воспоминания М.Д. Францевой // Исторический вестник. 1988. Т. 32. С. 381–412, 610–640.
8. Белоголовый Н.А. Свидание с гр. Л.Н. Толстым // Белоголовый Н.А. Воспоминания и другие статьи. М. : Типо-литография К.Ф. Александрова, 1897. С. 642–654.
9. Францева М.Д. Воспоминания М.Д. Францевой // Исторический вестник. 1988. Т. 33. С. 61–87.
10. Волконская М.Н. Записки княгини Марии Николаевны Волконской. Санкт-Петербург: Экспедиция заготовления гос. Бумаг, 1904. 212 с.
11. Черепанов С.И. Отрывки из воспоминаний С.И. Черепанова, напечатанные в «Древней и новой России» 1876 г. Казань : Типо- и лит. А.И. Линимайер, 1879. 82, [1] с.
12. Созонович А.П. Из воспоминаний А.П. Созонович // Декабристы. Материалы для характеристики. М. : Зензинов, 1907. С. 117–171.

13. Знаменский М.С. Детство среди декабристов // Сибирские огни. 1946. № 2. С. 101–111.
14. Барахов В.С. Литературный портрет (истoki, поэтика, жанр). Л. : Наука, 1985. 312 с.
15. Руднева И.С. Искусство словесного портретирования в русской мемуарно-автобиографической литературе второй половины XVIII – первой трети XIX вв. : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Орел, 2011. 21 с.
16. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л. : Худож. лит., 1976. 448 с.
17. Шатин Ю.В. Минья и палимпсест // Ars interpretandi : сборник статей к 75-летию профессора Ю.Н. Чумакова. Новосибирск, 1997. С. 222.
18. Женетт Ж. Фигуры : в 2 т. М. : Издательство имени Сабашиных, 1998. Т. 1–2.
19. Тюпа В.И. Мифопоэтика сопряжения художника и жизни // Новый филологический вестник. 2011. № 3. С. 122–137.
20. Хализев В.Е. Теория литературы : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. 6-е изд., испр. М. : Издательский центр «Академия», 2013. 432 с.
21. Тарнарукская Е.В. Монтаж и фрагментарная проза: к вопросу о разграничении техник // Известия Самарского научного центра РАН. 2012. № 2–1. С. 230–234.
22. Романова Т.В. Модальность как текстообразующая категория в современной мемуарной литературе: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. СПб., 2015. 48 с.
23. Эрлих С.Е. Декабристы в исторической памяти. 2000–2014 гг. : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. СПб., 2015. 48 с.
24. Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали / пер. с англ. В.В. Целищева. Москва : Академический Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2000. 384 с.

References

1. Tartakovsky, A.G. (1999) Memuaristika kak fenomen kultury [Memoir writing as a cultural phenomenon]. *Voprosy literatury*. 1. pp. 35–55.
2. Pershin-Karakassarskiy, P.I. (1908) Vospominaniya o dekabristakh [Memoirs about the Decembrists]. *Istoricheskii vestnik*. 114. pp. 537–569.
3. Basargin, N.V. (1872) *Zapiski Nikolaya Vasilevicha Basargina* [Notes of Nikolai Vasilievich Basargin]. Moscow: Tip. F. Ioganson.
4. Belogolovyy, N.A. (1897) *Vospominaniya i drugie stat'i* [Memoirs and Other Articles]. Moscow: Tipo-lit. K.F. Aleksandrova.
5. Lotman, Yu.M. (1992) *Kul'tura i vzryv* [Culture and Explosion]. Moscow: Gnozis; Izdatel'skaya gruppa "Progress".
6. Efimov, I.V. (1885) Zametki na vospominaniya A.F. L'vova [Notes on the memoirs of A.F. Lvov]. *Russkiy arkhiv*. 12. pp. 553–564.
7. Frantseva, M.D. (1988) Vospominaniya M.D. Frantsevoy [Memoirs of M.D. Frantseva]. *Istoricheskii vestnik*. 32. pp. 381–412, 610–640.
8. Belogolovyy, N.A. (1897) Svidanie s gr. L.N. Tolstym [Meeting with Count L.N. Tolstoy]. In: Belogolovyy, N.A. *Vospominaniya i drugie stat'i* [Memoirs and Other Articles]. Moscow: Tipo-litografiya K.F. Aleksandrova. pp. 642–654.
9. Frantseva, M.D. (1988) Vospominaniya M.D. Frantsevoy [Memoirs of M.D. Frantseva]. *Istoricheskii vestnik*. 33. pp. 61–87.
10. Volkonskaya, M.N. (1904) *Zapiski knyagini Marii Nikolaevny Volkonskoy* [Notes of Princess Maria Nikolaevna Volkonskaya]. St. Petersburg: Ekspeditsiya zagotovleniya gos. Bumag.
11. Cherepanov, S.I. (1879) *Otryvki iz vospominanii S.I. Cherepanova, napechatannye v "Drevney i novoy Rossii" 1876 g.* [Fragments from the memoirs of S.I. Cherepanov, printed in "Drevnyaya i novaya Rossiya" in 1876]. Kazan': Tipo- i lit. A.I. Linimaier.
12. Sozonovich, A.P. (1907) Iz vospominanii A.P. Sozonovich [From the memoirs of A.P. Sozonovich]. In: *Dekabristy. Materialy dlya kharakteristiki* [Decembrists. Materials for characterization]. Moscow: Zeninov. pp. 117–171.
13. Znamenskiy, M.S. (1946) Detstvo sredi dekabristov [Childhood among the Decembrists]. *Sibirskie ogni*. 2. pp. 101–111.
14. Barakhov, V.S. (1985) *Literaturnyy portret (istoki, poetika, zhanr)* [Literary Portrait (origins, poetics, genre)]. Leningrad: Nauka.
15. Rudneva, I.S. (2011) *Iskusstvo slovesnogo portretirovaniya v russkoy memuarno-avtobiograficheskoy literature vtoroy poloviny XVIII – pervoy treti XIX vv.* [The art of verbal portraiture in Russian memoir-autobiographical literature of the second half of the 18th – first third of the 19th centuries]. Abstract of Philology Cand. Diss. Orel.
16. Ginzburg, L.Ya. (1976) *O psikhologicheskoy proze* [On Psychological Prose]. Leningrad: Khudozh. lit.
17. Shatin, Yu.V. (1997) Minya i palimpsest [Menaion and palimpsest]. In: *Ars interpretandi: sbornik statei k 75-letiyu professora Yu.N. Chumakova* [Ars interpretandi: a collection of articles for the 75th anniversary of Professor Yu.N. Chumakov]. Novosibirsk. p. 222.
18. Genette, G. (1998) *Figury: v 2 t.* [Figures: in 2 vols]. Translated from French. Moscow: Izdatel'stvo imeni Sabashnikovykh.
19. Tyupa, V.I. (2011) Mifopoetika sopryazheniya khudozhnika i zhizni [The mythopoetics of the conjunction of the artist and life]. *Novyy filologicheskii vestnik*. 3. pp. 122–137.
20. Khalizev, V.E. (2013) *Teoriya literatury: uchebnyy dlya stud. uchrezhdenii vyssh. prof. obrazovaniya* [Theory of Literature: a textbook for students of higher professional education institutions]. 6th ed. Moscow: Izdatel'skiy tsentr "Akademiya".
21. Tarnarutskaya, E.V. (2012) Montazh i fragmentarnaya proza: k voprosu o razgranichenii tekhniki [Montage and fragmentary prose: on the issue of distinguishing techniques]. *Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN*. 2–1. pp. 230–234.
22. Romanova, T.V. (2015) *Modal'nost' kak tekstoobrazuyushchaya kategoriya v sovremennoy memuarnoy literature* [Modality as a text-forming category in modern memoir literature]. Abstract of Philology Dr. Diss. SPb.
23. Erlikh, S.E. (2015) *Dekabristy v istoricheskoy pamyati. 2000–2014 gg.* [Decembrists in historical memory. 2000–2014]. Abstract of History Dr. Diss. St. Petersburg.
24. MacIntyre, A. (2000) *Posle dobrodeteli: Issledovaniya teorii morali* [After Virtue: Studies in Moral Theory]. Translated from English by V.V. Celishcheva. Moscow: Akademicheskii Proekt; Yekaterinburg: Delovaya kniga.

Информация об авторе:

Михайленко К.А. – аспирант филологического факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: Mikhaylenko_ka@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

K.A. Mikhaylenko, postgraduate student, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: Mikhaylenko_ka@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 17.01.2025;
одобрена после рецензирования 22.02.2025; принята к публикации 31.03.2025.

The article was submitted 17.01.2025;
approved after reviewing 22.02.2025; accepted for publication 31.03.2025.